

Юрий Бычков

НА ДОРОГЕ
СТОИТ –
ДОРОГИ
СПРАШИВАЕТ

Москва
«ПРОБЕЛ-2000»
2010

Предназначение

Юрий Бычков

**На дороге стоит –
дороги спрашивает**

«Пробел-2000»

2010

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-44

Бычков Ю. А.

На дороге стоит – дороги спрашивает / Ю. А. Бычков —
«Пробел-2000», 2010 — (Предназначение)

ISBN 978-5-98604-222-0

Как и в первой книге трилогии «Предназначение», авторская, личная интонация придаёт историческому по существу повествованию характер душевной исповеди. Эффект переноса читателя в описываемую эпоху разителен, впечатляющ – пятидесятые годы, неизвестные нынешнему поколению, становятся близкими, понятными, важными в осознании протяжённого во времени понятия Родина. Поэтические включения в прозаический текст и в целом поэтическая структура книги «На дороге стоит – дороги спрашивает» воспринимаются как яркая характеристическая черта пятидесятых годов, в которых себя в полной мере делами, свершениями, проявили как физики, так и лирики.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-98604-222-0

© Бычков Ю. А., 2010
© Пробел-2000, 2010

Содержание

«Тебя я любила, а ты и не знал»	6
На дороге стоит – дороги спрашивает	12
Мой приятель с Почтовой	23
В живородном садике на дорашивании	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Юрий Александрович Бычков

На дороге стоит – дороги спрашивает

Посвящаю правнучке Дуне и правнуку Ване

В чём предназначение каждого живущего? Ответ, думается, не за семью печатями – в реализации природного потенциала, того, что от Бога, в желании, стремлении постоянно свершать, неустанно трудиться, любить Родину.

© Бычков Ю.А., 2010

* * *

«Тебя я любила, а ты и не знал»

В конце мая случилась жара египетская. Горячие лучи, проникая сквозь стёкла многочисленных окон парадного зала дома Васильчиковых, обращённого в учебный класс, накалили воздух до высокого градуса. Пребывая в безделье, затянувшейся неопределённости, духоте, девятиклассники, семнадцатилетние юноши и девушки, истомились в ожидании учительницы, покинувшей класс «на минутку по срочному делу». Забавлялись, как могли.

Кто-то из девчонок с истеричной, театральной, невсамделешной, категоричностью возопил:

– Мне дурно! Дурно мне! Дайте мне атмосферы!

Оглянувшись, я понял – актёрские наклонности таким образом вздумала показать Лариса Петухова. Дивертисмент с молодёжным азартом стал набирать обороты с этой, заимствованной из популярного кинофильма реплики, комичной, в сущности, из-за переноса в слове «атмосфера» ударения с «е» на «о».

– Из Чехова, кажется, твоя «атмосфера»? – спросил жеманно поджавшую губки и закатившую глаза Ларису компетентный в искусствах Борька Бессарабов.

– Кажутся черти – крестись! – едва не выпрыгнув из парты, как тигрица из клетки, вскинулась на него Лариса.

– Не суйся середя наперёд четверга.

– Бога не гневи, а чёрта не смей.

– Быть тебе, Лариса, в раю, где горшки обжигают.

– Вот так! Заступи чёрту дверь, а он в окно.

Как из горсти горох, сыпались пословицы и поговорки. Накануне обожаемый словесник, он же – директор школы Николай Иванович Бизянихин, погрузил девятый класс в мир народной мудрости в связи с разговором о «Словаре живого великорусского языка» Даля.

– Чем острить да грубить, окно бы открыли! Не видите разве, ухажёры лохматые, Лариске дурно?

Из дюжины смущённых ухажёров первым сорвался, побежал к окну Ким Сергеев.

Между собой, в частных разговорах, не по громкой связи, это когда ором на весь класс, а добродушно, ласково, поощрительно звали его Гимнаст Тибул. Литературные ассоциации были у нас в ходу. Если хотите представить себе Кима Сергеева, вообразите всем знакомую картинку: гимнаст международного класса исполнил программу на перекладине или на брусьях и замер в красивой стойке у спортивного снаряда. Совершенные формы, идеальная выправка. И это от природы. Впрочем, Ким увлекался гимнастикой – тренировался дома и в школьном спортзале.

Ким... Представьте, имя это не от корейских корней. Откуда им взяться в Лопасне? Ким – прихоть политизированных родителей, обративших Коммунистический интернационал молодёжи, его аббревиатуру КИМ, в имя сына. Революционная ретивость, как известно, к добру не вела. Отца Кима по клеветническому доносу арестовали и расстреляли в тридцать восьмом году. Об этом в школе, слава богу, прений и духу не было.

Ким Сергеев безнадёжно влюблён в Ларису Петухову. Это каждому известно. Влюблён по-мальчишески, в дым. С детских лет и навсегда. Как мне не вспомнить кстати про засаду трёх бойцов – Кима и его ландскнехтов, двух Олегов, Кузнецова и Ясиновского... В густых осенних сумерках три пятиклассника, три моих школьных товарища, без объявления войны, это когда во время перемены предупреждают: «Знай, Бычок, (моя школьная кличка) бить будем» – подстерегли меня возле родного дома. «Трое на одного», – недоумевал я, приближаясь к стоявшей на Венюковской дороге богатырской заставе. Возникло предположение: «Что это я решил, будто дело пахнет дракой? Они, наверное, на уроке физики заигрались, а теперь спохватились,

хотят у меня узнать про задание, которое дала на дом Екатерина Федоровна» Но тут троица рассыпалась, бойцы двинулись в атаку с трёх сторон.

В пятом классе мы все были до самозабвения увлечены историей. Отсюда это моё определение: «рыцарь и два ландскнехта». От одного из них я получил здорового тумака сзади. И ещё. И ещё. Флегматичный, долговязый Олег Ясиновский молотил по моей спине увесистыми кулаками. Ким подавал команды ландскнехтам. Я пытался увернуться от наскоков задорных бойцов, но удары сыпались градом. Олег Кузнецов норовил вlepить мне в носопатку. В нём, Олеге, ласковость и злость находились в удивительной близости друг от друга. В природной сущности своей, добродушный, улыбчивый, покладистый он (нередко такое случалось) вдруг сатанел: холодели, становились льдышками его маленькие голубые глазки, искры злобы сыпались из них. Свободно он мог дать тебе по уху, непонятно за что. Эта его агрессия при переходе из отрочества в юность утонула в любви к Рите Жариковой, которая колобком могла подкатиться к злыдню из злыдней с чудесной, простодушной, обворожительной улыбкой (сама-то она – сущий колобок – округлая, щёчки в ямочках, хохотушка). Олег и Рита раньше многих из нас, сразу по окончании школы, стали супружеской парой. Олег, окончив лётное училище, большую часть жизни отдал малой авиации. Регион, воздушные просторы которого он знал досконально, – Восточная Сибирь. Базовым аэродромом был для него аэропорт города Киренска в Иркутской области. Суровые Севера обслуживал Олег Иванович, и как важно было то, что в доме его в любой час дня и ночи ждала Маргарита Ивановна.

На пересечении Венюковской дороги с Почтовой улицей Олег Кузнецов лупцевал мою круглую физиономию классно и на третьей минуте боя расквасил-таки мне нос. Тотчас три бойца исчезли «аки тати в нощи».

Что, собственно, заставило троицу устраивать засаду? За что следовало «проучить Юрку Бычкова»? На влюблённого антропоса Беликова какой-то проказник нарисовал карикатуру и сделал ядовитую надпись: «Влюблённый антропос». Сочинил «Человека в футляре», как все помнят, Антон Чехов. Да не сочинил, а в жизни подметил такое типичное явление.

Ким Сергеев внешне – прямая противоположность Беликова: атлетически сложен, любит покрасоваться накачанными мышцами торса и развитыми бицепсами гимнаста, ловок, резок в движениях, но, подобно Беликову, – мизантроп. В отношениях со своей избранницей Ким никак не может найти нужного тона. Ревнует. Как индюк на красное, готов броситься на каждого, кому Лариса строит глазки. К примеру, Лариса кокетливо поглядывает на меня. А мне-то что? Пусть строит глазки – меня это не задевает. Вот Ким попытался проучить «соперника», и что?

В старом домашнем альбоме я недавно наткнулся на Ларискину фотографию. Когда и при каких обстоятельствах она мне её подарила, не помню. На обороте – буря чувств... Судите сами. Густо замазанная чернилами моя фамилия, следом – зачёркнутое имя в дательном падеже – «Юре», затем вовсе не зачёркнутое: «От Л.П. 4. 03.48 г.». Мне семнадцать и Ларисе столько же. Самая пора горячих влюблённостей. Многое понять и вспомнить позволила эта Ларисина фотокарточка. Да, что тут скажешь, она заглядывалась на меня ещё в пятом классе и раньше, для Кима это стало поводом для расправы, а мне невдомёк было тогда, за что побили. Семнадцатилетняя Лариса моё внимание ничем не привлекала. В девятом классе мне нравилась Люся Грекова, хотя сколько-нибудь внятного ухажёрства не припоминаю. Волновала её пикантная вихляющая, вперевалочку, походка. Руки— ноги как бы на шарнирах, для неё специально выдуманных шарнирах, с большими зазорами в сочленениях. Манили к себе Люськины васильковые глаза и ещё чувственный, проникающий в душу голос. Мы тогда были по большей части «нецелованные». Провожание после танцев в клубе сводилось к краснобайству с потугами на остроумие. Люся отвечала кокетливыми ужимками. Трогал её смех, звонкий, как заливчатый колокольчик. Когда она легонечко пожимала мне руку, так благодарила за удачный каламбур, сердце, так пелось в популярной предвоенной песне, «сладко таяло

в груди». Совсем другое чувствование – сердце бухало, как молот при ударе о наковальню, – испытал я в последнее школьное лето, перед десятым классом. В Лопасню к родственникам на каникулы из Донбасса приехала молодая особа, которая решительно принялась нас, изрядно повзрослевших увальней, знакомить с тем, с чем, по всей видимости, пора было познакомиться. Как на следующий день выяснилось, я не первым прошёл через этот мастер-класс. Как всё до ужаса просто оказалось. Объявляется «белый танец». Гостя с юга, не прозевав момент, подходит, кладёт мне ласковую руку на плечо и до конца вечера от себя не отпускает. Незадолго до завершения танцевального вечера она просит проводить её, родственники, оказывается, живут на самом краю Зачатья – название слободы от находящейся поблизости церкви Зачатия святой Анны. У крайнего дома сворачиваем направо – две минуты ходьбы, и открывается поле, всё в копнах только что обмолоченной комбайном яровой пшеницы. Народившийся месяц проглядывает сквозь редкие, высоко забравшиеся облака. Стрекохут неумолчно кузнечики. Под ногами шуршит щетина жнивья. Вполголоса, ей на ухо, пою:

– И куда, не знаем сами, словно пьяные, бредём...

– Почему не знаем? К ближайшей копне, – и она, крепко держа меня за руку, бежит к ней, влечет за собою, не упускает инициативы ни на мгновение.

– Какой неумёха! Ну же! Ну!

Будто молния прожгла нутро. Сердце бухает отчаянно. И лёгкость необыкновенная...

– Юра, вставай, провожай меня. Тётя, небось, переполошилась: «Где Катерина? Где Катерина? С танцев молодёжь прошла, а её нет». Ты-то дорогу домой найдёшь? Ха-ха-ха!

Так, полагаю, своевременно, лишился я невинности. Спасибо расторопной, предприимчивой Кате...

У меня на рабочем столе какой день лежит фотокарточка с Ларисиними пометами на обороте. Как это документальное свидетельство реального существования в течение многих лет любовного треугольника, оговорюсь, я в нём – пассивная сторона, оказалось в домашнем альбоме, ума не приложу? Станный любовный треугольник! Лариса к влюблённому в неё Киму относилась, как ей было угодно – приближала, удаляла, презирала, жалела. Со мной она всегда держалась насторожённо. Бог один знает, что за чувство, что за непреходящая любовь-привязанность выпала на её долю. Десятилетия это продолжалось. В девяностых годах, узрев меня, по какому-то поводу засветившегося на телеэкране, тотчас позвонила по телефону, и понятно было по её счастливому голосу, сколь дорога для неё эта нечаянно случившаяся виртуальная встреча. Вот когда понял, наконец, что у нас с ней, как в песне: «Меня ты любила, а я и не знал». И смех и грех...

С благодарным, добрым чувством смотрю на фотографию Ларисы. Приятная, в меру полноватая, обворожительная семнадцатилетняя Лариса с нежностью, затаённой тоской глядит из такой немыслимо далёкой дали времени! Только теперь, кажется мне, я, в состоянии мужского умиления, понял её, оценил её сердце.

Далеко завели воспоминания о времени первых влюблённостей прекрасной юности! Пора вернуться к истоку – на паркет старинного парадного зала дома Васильчиковых, на котором стоят в два ряда парты, а между ними довольно широкий проход, куда выпрыгнул Ким Сергеев и, поклонившись публике, колесом прошел на руках и ногах к крайнему, правому, окну. Его ноги при этом легко порхали в воздухе над головами склонившихся к проходу, в котором он виртуозно исполнял «номер». Достигнув окна, взлетел одним махом на широкий подоконник и принялся один за другим открывать шпингалеты, а затем, ухватившись за массивную литую ручку оконницы, с силой потянул на себя задребезжавшую стёклами раму. В класс густым потоком двинулся настоящий на весенних травах и ароматах только что распустившихся листьев вековых деревьев воздух. Все вскочили и шумно загомонили..

– Искупнёмся? – толкнул меня под локоть товарищ по парте Лёлька Макаров.

– Не рано? Вчера ещё льдинки кое-где на Большом пруду виднелись.

– Какой шут, рано? Двадцать восемь градусов в тени, по Цельсию... А ты: «Рано!»

Выйдя из-за парты на проход, Макаров направился к открытому Кимом окну.

Подоконник манил к себе элегантным могуществом: два сорокасантиметровых лафета в стык, алебастровая шпаклёвка и два слоя масляной белой краски!

– Была – не была! – и Лёлька, взобравшись на подоконник, прыгнул вниз.

Все, как одна, девчонки прильнули к стёклам закрытых окон, уселись на подоконнике открытого окна: смотрели во все глаза, волновались за летуна— Макарова. А он стоял на зелёной траве и улыбался во всё своё скуластое казацкое лицо, показывая крупные белые зубы и поправляя ладонью правой руки спустившиеся на лоб волосы – чуприну а ла Григорий Мелехов. Однажды это сходство подтвердил сам Николай Иванович Бизянихин, чем Лёлька Макаров особенно гордился.

Мне пришлось шутовски прикрикнуть на девчат, с восхищением смотревших сверху вниз на красовавшегося среди лужайки Макара:

– Дайте дорогу парашютисту без парашюта!

Девушек как ветром сдуло – они отлипли от подоконника, дав мне возможность встать на стартовую площадку и с возгласом «Ух!» совершить следом за другом-приятелем прыжок.

Стал было для прыжка на волю протискиваться к окну Ким Сергеев, но тут из глубины огромной классной комнаты послышался хрипловатый баритон Бори Бессарабова – не упустил случая подьелдыкнуть:

– Ким, купаться? В Большой пруд? А пузыри не забыл взять?

– Какие пузыри? Какие? Какие? – заверещали девицы, а Боря во всю глотку запел, принаравливаясь к обстановке, речитативом:

– Пошёл купаться Аверлей, Аверлей, оставив дома Доротею. С собою пару пузырей берёт он, плавать не умея. К ногам приделал пузыри...

– Бычачьи? – послышался ехидный писклявый тенорок Олега Ясиновского. – Га-га-га!

Но Бессарабова сбить с нотного стана невозможно – профи! Он тотчас поднял песню в тоне.

Старинная, озорная студенческая песня зазвучала во всё его хрипчатое горло с бендюжными фиоритурами, орнаментальными пассажами, декорирующими простенькую мелодию. Он начал исполнять куплет сызнова, из-за того, что его сбил с ритма Ясиновский.

– К ногам приделал пузыри, пузыри и окунулся с головою, но голова тяжелее ног – она осталась под водою. Жена, узнав про ту беду, сначала верить не хотела, но ноги милого в пруду она узрев, окаменела.

Ким, полагая, что это Бессарабов над ним насмешничает, осатаневши, бросился на нашего барда, однако народ вступился за певца:

– Пусть допоёт! Интересно же знать, чем там дело кончилось...

Борис по просьбе класса исполнил-таки заключительный куплет:

– Прошло сто лет, и пруд заглох, и заросли травой аллеи. Но до сих пор, но до сих пор торчат, торчат там пара ног и остов бедной Доротеи.

Киму в состоянии лёгкого затемнения разума бластилось, представлялось, будто песню про супружескую верность студенты чеховского времени сочинили в предвиденье его, Кима, негаснущей, пламенной любви к Ларисе Петуховой. Боря Бессарабов, на безопасном расстоянии от дергающегося в крепких руках своих дружков Кима, великодушно открещивался от самого себя. Это он делал артистически:

– Ты чего, Ким? Ты чего? Песня к тебе не имеет никакого отношения. Если правду говорить, я имел в виду поддразнить Рыжего, Витальку Комиссарова, и его ненаглядную Зинку Недуеву. А ты вообразил! Тоже мне Ромео с Почтовой.

Нельзя обойти вниманием Зину Недуеву. Чего таить, любовался ею. Сильно в ней чувствовалось женское начало. Тихоня, а переживания – ой-ой-ой! Тогда, весной сорок восьмого года, посвятил ей собственного сочинения стансы. Это было время ранних поэтических проб пера. Начало начал. В «Стансах Зины Недуевой» явлена дерзкая попытка проникнуть в мир женского сердца.

*Сиреневым духом прелестным
Ветер тихонечко веет.
Желание, до поры неизвестное, —
Чувство женское исподволь зреет.
Он мой нарушил покой.
Любит? Не любит? Не знаю...
Песню печали пропой,
Иволга, птица лесная.*

– Атас! Вера Васильевна идёт!

Невысокого роста, статная, в костюме элегантной строчки, в туфлях-шпильках – слышно, как приближается наш классный руководитель, преподаватель химии, супруга обожаемого всеми учителя физкультуры Александра Григорьевича Дронова, который видел, чуял, кому что отпустила природа, и умело вёл каждого к назначенному ему судьбою виду спорта. Увлекательными были занятия в химической лаборатории под началом Веры Васильевны Анисимовой. Оба талантливые, но такие разные. Симпатичная супружеская пара! Медлительный, несколько мешковатый, с речью врасстяжку Дронов и резкая, с металлическими нотками в голосе, строгая, но к нам добрая, заботливая по-матерински, бездетная Вера Васильевна. Так сказать, двойной портрет в школьном интерьере.

Народ теснится вокруг отлучавшейся по каким-то хозяйственным надобностям Веры Васильевны, наперебой доказывая ей, что по случаю небывалой жары надо распустить нас во избежание тепловых ударов и прочего.

В это время Бессарабов в дальнем углу актового зала продолжает убеждать чуть остывшего Кима Сергеева, что песня про Аверлея к нему, Киму, никакого отношения не имеет:

– Слушай ухом, а не брюхом! Где в песне про тебя хотя бы одно слово сказано? Ты чего? Очень мне нужно тебя дразнить!

Макаров с Бычковым, стоя внизу, под окнами актового зала, прислушивались к гомону класса, хорошо различимой нотации Бори Бессарабова.

Надо сказать, события развивались в весьма энергичном темпе. В тот момент, когда совершал свой прыжок из окна Лёлька Макаров, директор, Николай Иванович Бизянихин, возвращался из РОНО (районного отдела народного образования) восвояси. Бизянихин уже одолел три четверти круто поднимающегося вверх холма, на котором стоит усадебный дом Васильчиковых, в коем весьма комфортно чувствует себя лопасненская средняя школа. Жара томит. Одетый в костюмную пару, при галстукке, Николай Иванович с трудом одолевал крутизну аллеи. Пот струится по лбу и лысине, в отдельных местах прикрытой остатками выцветших рыжеватых волос. Директор остановился, извлёк из брючного кармана носовой платок и, отирая взмокшую на солнцепёке голову, глянул на вверенное ему здание – памятник архитектуры, белокаменное палаццо, выстроенное, как предполагают искусствоведы, по образцовому проекту Джованни Батиста Жилярди в последней четверти восемнадцатого столетия на деньги Александра Семёновича Васильчикова, отставного фаворита Екатерины Великой, покинувшего альков императрицы с миллионом золотых рублей в кармане. Мысли Бизянихина при взгляде на дивной красоты здание воспарили: от прозы бытовых забот он поднялся к вполне здравому рассуждению о том, что дворцовая среда, в которой де факто пребывают учащиеся,

безусловно, влияет, строя эстетический каркас личности, наращивая нравственный потенциал. Недаром, стал было кичиться директор, в девятом классе поэтов, историков по призванию, будущих российских, ну да – советских, литераторов, что рыбной молодежи в Большом пруду. В этот момент благостные размышления директора были прерваны ошеломившим его видением: из открытого окна парадного этажа белокаменного палаццо выпорхнуло человеческое тело.

Бизянихин замер и во все глаза смотрел на открытое окно бельэтажа. Через несколько мгновений в проёме окна показалась фигура. «Кто-то из старшеклассников», – определил с расстояния в сто метров Бизянихин и стал свидетелем прыжка с изрядной высоты на землю ещё одного юноши (в скобках замечу, сим неразумным существом был я). Усталость директора как рукой сняло, и он, забыв про жару, устремился к месту приземления великовозрастных сорванцов, коих он успел опознать, – Макарова и Бычкова. По его представлениям, пристальному наблюдению за одним и другим, оба не собирались. Вроде бы поступать в Рязанское десантное училище; впрочем, поди угадай. «Что они себе позволяют?» – распалялся в душе директор, но, подойдя к провинившимся, был, как всегда в таких случаях, корректен, сух, ироничен.

– Макаров, что это такое? Вы позорите школу. Я вынужден буду вас как зачинщика строго наказать. Завтра в десять утра явитесь ко мне в кабинет с матерью.

После этой разносной тирады Бизянихин, помолчав несколько томительных секунд, обратился ко мне:

– Зачем, за какой надобностью, Бычков, вы прыгнули из окна?

– Макаров прыгнул, и я за ним...

– Макаров полезет в Большой пруд топить, и вы за ним?

Я не знал, что сказать, как ответить на этот прямой, исключительной важности вопрос. Я промолчал. Всю жизнь вопрос, поставленный Бизянихиным, торчал в моей голове – чуть что, он больно колот сердце, поскольку был проникнут отеческим чувством нашего наставника. Любовь твою забыть, Николай Иванович, так в голос завывать. Истинный Бог, так!

На дороге стоит – дороги спрашивает

Это тебе не буйного сумасшедшего под микитки брать и о четырёх шпалах полковника Очерета в Лопасненском районном доме культуры представлять. Так-то вот, Юрик, выпутывайся сам, как знаешь. Не дрейфь! Барахтайся и всё вперёд, вперёд, по-собачьи, разбивая кулаками лёд в крошево, а руки в кровь, как тогда у мельничной запруды под Солнышковым. Друга-приятеля Петьку Солёного ты в мыслях, рассуждениях своих упрекать перестань, ни в чём его не вини. Он жё в соответствии с российской пословицей действовал: хотел поступить, как лучше, как он понимал распространённое обывательское стремление получше устроиться в жизни. Только это его и влекло. Куда, спрашиваешь? Да вспомни тот, первый, с ним разговор о поступлении в МАИ, в авиационный институт.

– Ты, старик, знаешь, что в МАПе сетка ставок наивысшая?

– А что такое МАП?

– Не знаешь, что такое МАП? Лапоть ты лопасненский, сапог валяный!

– Представь себе, не знаю! Не тяни кота за хвост...

– Министерство авиационной промышленности. У этого министерства свой институт – Московский авиационный. Туда и подадим заявления о приёме.

– А ты, Петя, откуда всё это знаешь?

– Откуда, откуда? Оттуда! Мой родной дядя, Василий Иванович, в этом министерстве работает.

– Кем?

– Сказать не могу. Режимная должность у него.

Так и совратил речистый москвич Солёный меня и моего школьного товарища Лёльку Макарова. Решили вместе, втрём, идти в Московский авиационный институт на моторный факультет. Почему именно на моторный? Солёный нам, олухам царя небесного, разъяснил: «Так дядя Вася советует». На мякине, что называется, провёл нас. А тебе-то чего хотелось, о чём мечталось, бычок, оказавшийся у Солёного на верёвочке? Ага, поступить на филфак, истфак, а может, на медицинский, чтобы по стопам Антона Павловича Чехова в писатели, властители дум, податься. А что? Мечты прекрасные. Стоящие мечты. Правда, один бог знает, что за цыплёнок из этих мечтаний вывелся бы, не сыграй ты, Юра Незрелый (как прикажешь ещё тебя называть в этом случае?), в труса. Чем самому ломить, пробивать путь в университет, ты, гуманитарий от природы, обрадовался тому, что тебе дружок заезжий, Петька Солёный, предложил услуги штурмана, прокладывающего недотёпам-лопасненцам жизненный маршрут. В общем, твоё дело телячье: обделался и стой, поскольку в стойло это добровольно вошёл. Отмоешься со временем, или тебя доброхоты отмоют. В МАИ тебя всему научат, только вот самостоятельности он, Солёный, ни в чём не виноватый, тебя лишил, как девиц лишают невинности в большинстве случаев не по их, девиц, воле и желанию, а по воле случая. Сладкий плен тебе уготован – жить под диктовку учебной программы одного из лучших вузов страны, попутно открывать способы преодоления душевного дискомфорта. А что? Не слабо!

Когда отучился в МАИ, работал уже на авиамоторном заводе и, мечтая о писательском будущем, посещал заводское литобъединение, написал стихотворение, опубликованное в сборнике заводских поэтов «Первые шаги». Оно называлось пафосно – «Иди вперёд». Что ж, таков был назидательный вывод из первого отрезка самостоятельной жизни. В соответствии с этим выводом и шёл всё вперёд и вперёд, назад не оглядываясь.

ЮРИЙ БЫЧКОВ, инженер.

ИДИ ВПЕРЁД!

*Бой длился долго. Многие убиты.
Отбито шесть атак подряд.
И ждут седьмой...
Что? В отступлении искать защиты?
Смотри вперёд! Не оглянись назад!
В дерзанных мысли время обгоняя,
До дна исчерпай творческий заряд.
Всё устаревшее с пути снимая,
Иди вперёд! Не оглянись назад!
Семья, заботы... Ты решил учиться,
А трудностей вокруг – несметный ряд,
И всё же цели должен ты добиться!
Смотри вперёд! Не оглянись назад!
Тот вывод, что диктует жизнь, железен,
И тысячи примеров нам твердят:
Своей Отчизне хочешь быть полезен —
Иди вперёд! Не оглянись назад!*

Не соглашаться с перспективой стать инженером, не любя, не чувствуя призвания к инженерному делу на инженера учиться? Стоп! Не то! Заочный, какой-то мистический страх перед инженерной профессией стал овладевать мною. Как быть? Не окунувшись, не начав постигать инженерные науки, встать и уйти за проходную МАИ? Куда уйти? Для начала «во солдаты». «Важно ввязаться в сражение, а там посмотрим», – так, кажется, рассуждал и действовал Наполеон.

Возможно, так оно бы и вышло на этот манер, и можно с большой долей вероятности предполагать, что нашёл бы себя «во солдатах», военная служба не раз оказывалось кстати молодым людям, мечтавшим стать писателями. Чем круче, тем лучше! Всякий жизненный материал начинающему писателю – хлеб насущный.

Встать и шагнуть за порог проходной МАИ? Для меня, оказывается, это всё равно, что встать у открытой двери и выпрыгнуть из вагона скорого поезда. И даже того круче – без парашюта покинуть летящий самолёт. Что это страх банальный? Таким храбрым показал себя в отрочестве и юности и вдруг... Не мог я себя представить беглым студентом. Мучился сомнениями. «Чем, собственно, тебе не по нраву такой обожаемый молодёжью вуз? Или всё-таки уйти: просидеть зиму дома, бывая в библиотеках, музеях, театрах, готовясь исправить ошибку молодости, – поступить в будущем году на гуманитарный факультет университета или педагогического института? Не выйдет – ты призывник, и тебе надо готовиться к солдатчине, психологически готовиться. Увы, и с «солдатчиной» у тебя ничего не выйдет. Тебя, одного из весьма способных учеников Лопасненской средней школы, направят в какое-либо военное училище, а оказаться курсантом несколько не лучше, чем быть студентом вуза, в который ты поступил почестному. Сдал вступительные экзамены так, что и стипендию платят и ценят за сообразительность. Блеснул, отличился этой самой сообразительностью при поступлении. Петрусь Солёный дённо и ночью творил шпаргалки – ими на экзаменах он был наспигован, как фаршированная щука. А тебе, Бычков, претила эта самодеятельность. Ты считал: «Сколько знаю, во столько и оценят». Право, смешно подумать, тебе задают дополнительный вопрос, а ты лезешь за подкладку, извините, мужских порток и шаршишь по заглавнику в поисках формулы бинома Ньютона.

Ведь как оказалось на деле, в реальности. Проходной экзамен в МАИ – математика. Взял я, про себя помолвившись, билет, в котором пять пунктов. Первые три – задачи и вопросы, знакомые по тому, что проходили в средней школе, а два последних пункта требуют знаний

бóльших, нежели школьные; необходим неведомый пока что мне математический аппарат. В короткое время подготовившись по первым трём пунктам и сознавая, что два последних мне не по зубам, прикидываю в уме логическую схему решения задачи четвёртого пункта и иду к столу экзаменатора. Он благосклонно ставит мне твёрдую четвёрку за сообразительность. Логика решения задачи, выходящей за рамки школьной программы, убедила его в том, что у меня с головой всё в порядке.

А между тем, насколько я себя понимаю, весь состою из парадоксов, то есть несообразностей, странностей, несоответствий житейской логике. Не странно ли, дифференциальное, интегральное исчисления мне дались с лёгкостью, я испытывал огромное удовольствие при постижении этих двух фундаментальных разделов высшей математики, а такую математическую дисциплину, как начертательная геометрия, душа моя по сей день не приемлет. На лекциях профессора Четверухина, автора учебников и методик (высокая фигура которого запечатлелась, как тангенс, – острый угол прямоугольного треугольника, тангенс), я не успевал осознать ровным счётом ничего из того, что он стремительно набрасывал брусом мела на аспидной доске. Замысловатые пространственные построения представлялись мне фантазматической линией, чем-то вроде паутины для попавшей в неё мухи. Предстоящий экзамен по начертательной геометрии внушал с трудом одолеваемый ужас. Спустя годы по окончании института мне нередко снился экзамен, который я никак не мог сдать Четверухину. В реальности студенческая зачётка объективно свидетельствовала: «Посредственно. Н. Четверухин». Сдал, но не верил в это.

Парадоксальность самого факта неприятия профессора Четверухина и курируемого им во всесоюзном масштабе предмета, как уродливая гримаса легла на лик моей биографии. Ну разве не парадокс то, что, отдавшись изобразительному искусству, став в 1974 году членом Союза художников СССР, написав десяток монографий, сотни статей о творчестве мастеров изобразительного искусства, возглавляя в качестве главного редактора профессиональную газету «Московский художник», естественно, разумея в силу, так сказать, производственной необходимости принципы и тонкости объёмного и линейного изображения, так и не полюбил начертательной геометрии, душа почему-то не приняла. Ведь почему-то она, привередливая моя душа, принимала такие разделы высшей математики, как дифференциальное и интегральное исчисления – хлеб инженерии? Однако не хлебом единым жив человек. Возможно, я «незаконная планета, среди расчисленных светил», которой назначено двигаться по иной, нежели инженерная, орбите, как подобное случилось с десятками выпускников МАИ, ставших известными артистами, писателям, певцами, режиссёрами.

Подытожу рассуждения на тему: правильно или неправильно я поступил, сделав шаг в сторону инженерного вуза. Несколько раньше аз грешный признался, что не созрел, хотя и получил школьный «Аттестат зрелости». Самостоятельности нехватка была налицо! Понадобился буксир; подоспел московский приятель Петёк Солёный с предложением идти в МАИ. Наш школьный поэтический кумир Маяковский с рекомендацией делать жизнь с «товарища Дзержинского», как сегодня бы сказали, не годится, слишком круто и вообще – бог знает что! Трудная позиция – юноша на распутье.

А грубость стихов Маяковского о нежности затягивала в свой омут. Вспоминаю, как Лёлька Макаров в летние дни сорок девятого, в канун «штурма» МАИ, когда мы дни напролёт занимались у Петёки Солёного, расхаживая по просторной единственной комнате московской коммунальной квартиры в доме на улице Москвина, за спиной массивного краснокирпичного здания филиала МХАТ, бывшего Театра Корша, плотным, мужающим от строки к строке баритоном читал с юношеским пафосом:

*Вашу мысль,
мечтающую на размячённом мозгу,*

*как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окрававленный сердца лоскут;
досыта изысываюсь, нахальный и едкий*

Свобода словоизвержения полная, безграничная – поэт властелин мира.

*У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в нём!
Мир огромишь мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.*

*Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый,
А себя, как я, вывернуть не можете,
Чтобы были одни сплошные губы!*

Многими неологизмами, языковыми новшествами одарил Владимир Владимирович великий, могучий; ко многому неудобоваримому за век без малого мы попривыкли, притерпелись, многие, введенные Маяковским в речевой оборот слова, несомненно, обогащали современную речь, но нельзя принять за норму, за слово, узаконенное в великорусском языке такой вульгаризм, такое режущее слух словцо, занесённое с юга, как «ложит». Компьютер, на котором я работал, подчеркнул волнистой красной линией и «ложит» и «ложите». Макаров читал Маяковского яро, громко, и способные оскорбить слух каждого культурного человека «ложит» и «ложите» проникли сквозь стену смежной комнаты, в которой сосед Солёных по квартире, участник молодёжного струнного квартета, скрипач Валентин Берлинский (впоследствии художественный руководитель Государственного квартета имени А.П.Бородина, профессор Московской консерватории, народный артист России, музыкант с мировым именем) репетировал с коллегами программу предстоящего концерта. Нежнейший пассаж одного из Парижских квартетов Гайдна был прерван на самой высокой ноте так, словно у первой скрипки внезапно лопнула струна. Из-за стены до нас доносились отдельные фразы: музыканты, похоже, недоумевали. «Как “на скрипки ложите” у великого Маяковского? Быть не может! “На скрипки ложите”! Что “ложите”?»

Ха-ха-ха! И на солнце бывают пятна...» Спецы говорят, что Маяковский в данном случае над кем-то иронизировал. Ну, что ж – бог с ним. С гениальным.

А Лёлька Макаров был хорош! Он читал Маяковского самозабвенно, вдохновенно, как некую нравственно-эстетическую проповедь. Поэзия трибуна революции, реформатора языка даже и самой формальной новизной структуры стиха взяла его в свой чарующий плен.

Буксир Петя Солёный (буксир – слово иностранное, и вот его толкование: «Самоходное судно, предназначенное для буксировки несамоходных судов) очень скоро растерял подопечных в сложной для целеустремлённого плавания акватории – водном пространстве, подверженном штормам и бурям, изобилующем рифами и мелями. Солёный, взявшийся было помогать нам, тянуть на канате двух слегка растерянных провинциалов, очень скоро потерял ход и управление буксируемыми. Дабы не затонуть, мы вынуждены были обзавестись тотчас двигательными силовыми установками, собственными рулём и компасом, и таким образом обрести возможность идти собственным курсом, а не плыть по течению, как айсберг в океане или нечто ещё, не столь величественное. Наш буксир, Петя Солёный, перед тем, как обрубить буксирный канат, пропел нам, необразованным, глуповатую сентенцию.

*Студент бывает весел
От сессии до сессии,
А сессии всего два раза в год.*

С какой стати мне надо веселиться? И всё-таки до декабря, когда начались зачёты, бездумно «веселились», а на душе кошки скребли. Захаживали в закусочные и винные кабачки, горланили старинные студенческие песни. Откуда они взялись? Кто от кого перенял, сейчас и не вспомню. Гимны дореволюционных студентов запоминались на-раз! Пели их чаще всего в электричках, увозивших нас по субботам в Лопасню к родителям.

*Крамбамбули, отцов наследство,
Вино, любимое у нас, —
Успокоительное средство
От всяческих иных проказ.*

Запевал лёгкий, звонкий тенор – припев мощно подхватывал весь, сплошь набитый студентами-безбилетниками вагон, не исключая представительниц дамского сословия

*Когда мне изменяет дева,
Не долго я о том грущу.
В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пущу
За то студенты в рай пошли,
Что пили все крамбамбули,
Крамбам-бим-бамбули,
Крамбамбули.*

Недавно где-то вычитал, что крамбамбули – это пражская водка студенческого розлива. Стало быть, гимн винопитию ненашенский, а чешский, так сказать, переводной.

Орём во всю силу молодых лужёных глоток: «Крамбамбимбамбули, крамбамбули», приняв сто пятьдесят и кружку пива, закусив бутербродами с икрой, хочешь красной, хочешь чёрной, – дешево и сердито. Всё это ничтожно мало стоит: в сталинское время прогулять стипендию – задача, увы, не простая. Вспоминаются крабы в собственном соку, что навязывали, давали в нагрузку во всех закусочных и буфетах.

Пьянство, надо заметить, дело дурацкое и не хитрое. Это тебе не блоху подковать. Как гуляли – веселились, оглянулись – прослезились. Оборвался пеньковый канат-буксир, на котором пытался удерживать при себе меня и Лёльку Макарова Солёный. Во время зимней экзаменационной сессии, после того, как со скрипом, кое-как, сдали зачёты, он, канат, и оборвался. Первый экзамен – математика, дифференциальное исчисление. Я нырнул в аудиторию, где проходил экзамен, одним из первых, рассудив: «Пока голова свежая». В зачётке моей по выходе из чистилища стояла удивившая меня самого оценка «отл», что благодушно расшифровывалось нашими доморощенными остряками как «Обманул товарища лектора». «Хор» в этой шутейной аббревиатуре означало – «Хотел обмануть разоблачили. «Поср» – не упомянул, ведь столько лет прошло.

Петя Солёный, услышав из моих уст ровным, тихим, но внутренне ликующим голосом произнесённое «Обманул товарища лектора», побледнел, следом, через две-три секунды, позеленел. Ступая по паркету одеревеневшими ногами, словно идя на казнь, он вошёл в дверь математической аудитории. В состоянии обречённости вести беседу с товарищем лектором

о принципах дифференциального исчисления – дело безнадежное. Для того, чтобы студенческую зачетку украсила начертанная твердой рукой преподавателя высшая оценка «отлично» или сокращённое «отл», кураж нужен и знания в достаточном объёме, разумеется. Солёного снесло честолобивое желание стать маёвцем — отличником. Дескать, знай наших! Де факто данных на то у Петра Солёного не было. Про это самое поётся в знаменитой украинской песне: «Чому я нэ сокил? Чому нэ летаю?» Снизойдя к слабости, немочи, временной, конечно, лектор, он же экзаменатор, начертал, сочувствуя Солёному, «поср» и принялся выявлять уровень знаний студента Льва Сердцева.

Солёный вышел в коридор в сомнамбулическом состоянии, в расстройстве сознания, характеризующемся автоматизмом действий. Он, никого и ничего не видя, направился в туалетную комнату, где методично, полоска за полоской распустил на ленточки обе брючины и таким образом поставил нас, его товарищей, перед необходимостью выдумывать способ воссоздания брючного благополучия, хотя бы относительного.

Дальнейшее банально и, в сущности, гнусно. Наш буксир решительно сбился с курса – загулял. Когда решили втроём готовиться к поступлению в МАИ, Солёный приказал всем постричься наголо, дабы ни одна соблазнительница и не пыталась совратить нас с намеченного кормчим курса. А тут – «гуляй, рванина, от рубля и выше». Если бы он изволил гулять в одиночку, то куда ни шло. Но кто ж гуляет в одиночку в таких прискорбных обстоятельствах?! В качестве сочувствующих, утешающих выступали мы, единоверцы. Пили, ныли, буянили, пьяные гимны распевали.

*За то студенты в рай вошли,
Что пили всё крамбамбули.
Крам-бам-бим-бам-були,
Крамбамбули.*

Физика и химия были провалены с треском. Макарова за двойки по этим предметам отчислили из института, и он загремел как военнообязанный, по призыву... в Вольское авиационно-техническое училище. Мы с Солёным прокатились каким-то чудом на тройках. К экзаменам не готовились совершенно. Стипендия накрылась ввиду двух троек – по физике и химии. Кислая жизнь впереди, как ни кидай. Я послал в Ленинград, в Военно-медицинскую академию прошение о переводе туда из московского технического вуза и скоренько получил отказ. Закручинился. Утешение находил в поэзии, консерваторской музыке (какая роскошь, духовное наслаждение высшего порядка – шопеновский концерт незабвенного Владимира Софроничского!), художественных выставках и Третьяковке. На кого обижаться? Сам себя загнал в угол. А может быть, и не в угол вовсе? И ещё, знай на будущее, Юрий, что права восточная пословица: «Выбирая спутников, людям ловким умных предпочти».

НОСТАЛЬГИЯ, ТОЖ ТОСКА

*С тоской-злодейкою не сладить.
Надежда выжжена дотла.
Читаю меджлисы Саади —
Куда кручина завела!
Спешу к друзьям
Искать утех,
В вине забыть свою беду.
Иль к тишине библиотеки
Неведомо зачем бреду.
А чувство разуму не внемлет —*

*Конспекты валятся из рук.
Душа – пустыня!
Разум дремлет,
Календари безбожно врут,
Их наставления не дельны.
И разве гороскоп – гуру?
Защитнице, Небесной Деве,
Не веришь, стоя на юру.
А если походя влюбиться?
Ненадолго – на час? на день?
Ах, время, жидкая водица,
Закапало, глядь – проливень!
Напрасны поиски соломки,
Что стеляют, где тебе упасть.
О, боже, косточки так ломки...
Хандрю – такая вот напасть!
Ноябрь по стрележню гонит сало
К излучине Москвы-реки.
В тревоге сердце и не малой,
Ведь не замолены грехи.
В раздумье бросил взгляд печальный
На реку – водную стихию:
Течёт по руслу, изначально,
Свободно,
Как пишу стихи я,
Оторванный от уз и крепей,
Во власти времени течения.
И вдруг...
Что может быть нелепей!
Как гром январский —
Увлечение.
К чему затеплилась улыбка?
К чему, как лёгкий взмах весла,
Возникла женщина и зыбко,
Маняще, бровью повела.*

Погружённый в себя, в забвении, в поэтическом экстазе, пребывая в чертёжке Пятого корпуса, инкубаторе, – здесь первокурсников МАИ обращают в инженерную веру, я, отключившись от распятого кнопками на мягкой липовой чертёжной доске листа ватмана с курсовой работой (именно эта дисциплина приучала к точности, чёткости, аккуратности) сидел в тишине чертёжного зала, где десятки студентов-первокурсников сосредоточенно постигали язык инженерной графики, и правил стихи. Те, что вспомнил и воспризвёл с помощью компьютера только что. Обстановка располагала к сосредоточенности.

Дора Израилевна Спектор – преподаватель черчения, статная брюнетка лет тридцати, продвигаясь по залу бесшумно, невидимо, как некий фантом, возникла неожиданно рядом со мной.

– Разрешите присесть, – она грациозно опустилась на непрезентабельный, изрезанный, разрисованный поколениями студентов, табурет и вальяжно заложила ногу на ногу, открыв, таким образом, восхищённым взорам шмыгающих взад-вперёд студиязов и мне, её собесед-

нику, прелесть, броскую красоту икр, колен, бёдер, обтянутых вязью модного, тонкого, как шёлк, капрона.

«С какой стати она оказывает мне такое внимание? Преподаватели МАИ – не то, что наши учителя в Лопасненской средней школе, особым вниманием, участием студентов не балуют: прочитал лекцию, поставил тебе на экзамене «хор» или «неуд» и пошёл себе – его не касается, слушал ты лекцию или играл с приятелем в «морской бой», огорчён тем, что тебе, такому умному и гордому, вместо причитающейся высшей оценки доцент Иванов поставил «хор». «Каста неприкасаемых!» – рассуждал я, не осознав ещё разницы между школами средней и высшей.

– Стихи пишете, а чертёж скучает, ждёт не дожждётся вашего благосклонного внимания.

Она оглядывает острым взглядом листки с черновиками стихов: приподнявшись, пробегает глазами «Ностальгию», читает вслух, негромко, с чувством, заключительную строфу.

*К чему затеплилась улыбка?
К чему, как лёгкий взмах весла,
Возникла женщина и зыбко,
Маняще бровью повела?*

Дора Израилевна, непроизвольно, бровью повела и захохотала:

– Хорошие стихи... Вы, несомненно, талантливый, одарённый человек, – она шагнула к чертёжной доске: – Какой раз смотрю на эти неловкие, неуверенные линии и понимаю, какое для вас мучение это моё любимое черчение. Хлеб с маслом для будущего инженера, между прочим.

Она говорит доброжелательно, ласково, как старшая сестра.

– Как я вас понимаю... Шаг в неверном направлении... Вам придётся исправлять допущенную ошибку.

– Ошибку? Не роковую, надеюсь? – мне совсем не хотелось в разговоре с красивой молодой женщиной показаться слабаком. И я немного петушился.

– Уходить из института не собираюсь. Черчением, Дора Израилевна, в ближайшее время займусь всерьёз. И сопромат придётся одолеть, и теорию машин и механизмов, и газовую динамику. И дипломную работу сдюжить.

Отчего-то на душе полегчало – мне показалось, что Дора Спектор не только из сочувствия подседала ко мне, чем-то я её приманил. «В общем, если приглядеться, парень не из последних. Одеваться надо бы получше. Стихов писать побольше хороших. Себя уважать... А что? Не пригласить ли эту статную «чертёжницу» в Третьяковку, чтобы нос не задирала. Подумаю...»

С утра по расписанию лекция профессора начертательной геометрии Четверухина, а я к десяти утра спешу в Лаврушинский переулок. Там в залах Третьяковской галереи семинарские занятия со студентами искусствоведческого отделения истфака МГУ проводит профессор Алексей Александрович Федоров-Давыдов. Он выходец из Третьяковки – много лет работал здесь лаборантом, экскурсоводом, научным сотрудником. Защитил кандидатскую диссертацию. Перешёл на кафедру искусствоведения МГУ. Через Третьяковку в патентованные искусствоведы, чем не пример для подражания? Касаясь моей причастности к изобразительному искусству (с июня 1976 года я член Союза художников, секция искусствоведения), замечу, что курс истории отечественной живописи в практическом преломлении пройден мною в Третьяковской галерее.

В студенческие годы МХАТ, Малый и Большой театры с корифеями, имена которых называешь и дух захватывает, посещал без определённой системы, но с разбором, «штучно». Консерватория и Зал Чайковского также в перечне средств моего воспитания и образования

в сфере искусств. Это были вечерние, так сказать, факультативные, занятия – наслаждение и накопление духовного потенциала. Хорошее физическое состояние, отменная спортивная форма обеспечивались регулярными тренировками в лыжной секции Спортклуба МАИ. То, что получил в средней школе под мудрым руководством Александра Григорьевича Дронова (чего стоит такое достижение восьмиклассника и его тренера: Юрий Бычков – чемпион Лопасненского района 1947 года в лыжных гонках на 10 километров!). В МАИ это стало пропуском в институтскую лыжную сборную команду. Тут тебе и отдых от изнурительных занятий (365 экзаменов, зачётов, курсовых работ за шесть лет учёбы. Каково!) и подпитка самолюбия – не пустой звук постоянное стремление к первенству среди самых сильных, волевых маёвцев.

Не в свои сани не садись! Конечно же, это дельная сентенция, но как хочется утихомирить излишнюю категоричность старинной поговорки другой поговоркой: «Что сделано, то свято». Поступил в МАИ – бери всё ценное, что дают тебе в его стенах. Что мне, гуманитария от природы, дорого всегда? Исторический аспект, эстетический компонент, философия всякого дела. К примеру, такой предмет, как «История авиации» для меня – хлеб с маслом. А философская составляющая «Марксизма-ленинизма» важна, обязательна, и не из-под палки, естественно, тому, кто близок к искусствоведению, практической эстетике, изящной словесности. Английский язык. В пятидесятых годах, живя за массивным «железным занавесом», многие из нас брезговали английским. Иного и ожидать было трудно. Отношение к английскому языку у нас, студентов-технарей, было непорядочным. С помощью всяческих ухищрений сдавали зачёты. Надо признаться, самим было противно от этой царившей в институте профанации.

Серьёзно, увлечённо относился я к металловедению. Не странно ли? Нет, совсем это не удивительно. Человеком, личностью я был увлечён. На лекции заведующего кафедрой металловедения, профессора, доктора технических наук Сергея Тимофеевича Кишкина, сбегались отовсюду. Это были по-настоящему главы научно-приключенческого романа. Кишкин выходил к профессорской кафедре, элегантно, с блеском регалий. На лацкане его модного двубортного пиджака красовались две золотые медали лауреата Сталинской премии. Томиться в неведении, сгорая от любопытства, студентам не приходилось. Сергей Тимофеевич с очаровательным простодушием «раскалывался» насчёт лауреатских медалей.

Но прежде, чем коснуться научно-приключенческой стороны дела, он азартно вычерчивал мелом на доске, схематично, на скорую руку, шлифы, комментируя существо принципов повышения прочности и жаростойкости легированных сплавов, им созданных. Затем пускал по рядам лекционного зала подлинники – тонкие, отполированные, круглые по форме пластины – и продолжал пояснять, какие структурные метаморфозы происходили от точной, соответствующей теоретическим представлениям, добавки хрома, ванадия, никеля.

Важность проведённых им в годы войны исследований можно было ощутить, услышав, что задания и поручения он, лично, получал от Государственного комитета обороны. Самолёт-штурмовик Ил-2 не имел достаточной броневой защиты. Во время штурмовки гибли лётчики, падали наземь самолёты. От Кишкина ГКО потребовал в короткие сроки создать броню, способную защитить лётчика и машину, – одеть штурмовик в дополнительную броню, не увеличив существенно полётный вес.

Он создал такой бронесплав.

Улыбчивый, обаятельный, доброжелательный, открытый, готовый к общению, Кишкин не менял этой тональности нигде и никогда. Увлёкшись металловедением, я, помимо лекций, при всякой возможности спешил на кафедру, в замечательную лабораторию Сергея Тимофеевича, где он с нескрываемым удовольствием консультировал заинтересовавшихся его наукой студентов. Помню вдохновенное лицо, светившиеся сквозь стёкла очков глаза, румянец пухлых щёк и летающие руки, берущие со стенда и ставящие под микроскоп один шлиф за другим, и тут же поясняя, что внесло в структуру сплава внедрение того или иного легирующего, повышающего вязкость или прочность, компонента. Осмелев от его благорасположенности, спросил:

– Как вы, Сергей Тимофеевич, определяете, что и в каких количествах следует вводить в состав шихты, чтобы получить желаемое качество? Планируемую, если можно так выразиться, броневую или жаропрочную сталь?

– На глазок. Как в искусстве, где всё на чуть-чуть, – он засмеялся звонко, молодо и пояснил: – Это, в сущности, искусство, искусство варить сталь, сталь с определёнными желаемыми качествами. А искусство? Искусство – знание, умение плюс интуиция. И догадливость – вещь не лишняя...

Как-то, по ходу лекции, Кишкин поведал имевшую место быть приключенческую историю. Броня штурмовиков Ил-2, Ил-8, Ил-10 вызвала огромный интерес, зависть, что ли, у наших союзников. Как заполучить в Англию сверхсекретного создателя суперброни? Черчилль, премьер Великобритании, обратился с просьбой к Сталину прислать профессора Кишкина в Лондон. Легко сказать: «Пришлите, пожалуйста, Кишкина», – а как подобный вояж осуществить? Сталин поинтересовался гарантиями безопасности. Черчилль заверил маршала Сталина:

– Доставим в сохранности.

На бомбардировщике «Ланкастер», приземлившемся на авиабазе под Мурманском, Сергею Тимофеевичу предоставили в качестве пассажирского места бомболюк. Эскадрилья истребителей королевских ВВС ответственно сопровождала перелёт.

– Как видите, довели благополучно, – весело заключил сообщение о своём воздушном путешествии Кишкин.

Рассказал профессор в тот раз и о том, как он провёл обмен научной информацией с союзниками, которые не спешили предоставить состав шихты интересующего его броневой стали. «Что за добавки используют англичане?» – ломал голову Кишкин. Любопытство своё смог удовлетворить догадливый Сергей Тимофеевич лишь по возвращении в Москву. Решить задачу помог случай. Во время экскурсии на военный завод Кишкин, ведя беседу у токарного станка с сопровождающими его лицами, обронил «нечаянно» носовой платок – поднял платок с прилипшими кусочками стружки.

На экзамене по металловедению мне было, как никогда, легко. Бывало со мной в МАИ и такое. Кишкин запал в сердце на всю жизнь. Держу в памяти всё, что с ним связано.

Когда Сергей Тимофеевич легко, иронично, как о чём-то забавном, вспоминал, как он болтался несколько часов в жёстком, тёмном бомбовом люке, у меня из головы не шла песня английских лётчиков, в которой радиосообщение пилота невольно возбуждало тревогу за возможный иной исход перелёта Кишкина. На вечеринках пою эту песню, думается, с подобающей интонацией, вкладывая в неё своё, дополнительное, содержание – от вояжа С.Т. Кишкина.

*Был озабочен очень воздушный наш народ,
К нам не вернулся ночью с бомбёжки самолёт.
Радисты сбились в эфире, волну едва лова,
И вот без пяти четыре мы услышали слова:
«Мы летим, ковыляя, во мгле,
Мы летим на подбитом крыле.
Бак пробит, хвост горит,
Но машина летит на честном слове
И на одном крыле.*

Боже, насколько это близко к тому, что пришлось пережить моему профессору в небе над Исландией.

Мессеримитты орёл на орле —

*Мессеримитты на каждом крыле.
Мессеримитт нами сбит
И машина летит ...*

Сергей Тимофеевич рассказывал:

– Ночь. Черно – глаз коли в бомбовом люке. Посредине пути на «Ланкастер» вышли «Мессершмитты». По бронированному фюзеляжу бомбардировщика, будто мне по голове, прошла пулеметная очередь. Заложило уши. Подумал: «Кушать меня будут норвежские лососи или треска с Джордж банки? Впрочем, откуда мне знать это – курс «Ланкастера» мне неизвестен». Когда приземлились в Лондоне, пилоты сообщили: «Один “Мессер” был сбит, второй ушёл восвояси». Кишкин летал в Англию исполнять союзнический долг – способствовать усилению бронезащиты самолётов и танков англичан и американцев. Надо полагать, преуспел в этом.

Мой приятель с Почтовой

Догадывался Николай Иванович, да чего там догадывался, знал о том, что поэтические ветры в десятом классе взъерошили многие головы, задели за живое подопечных ему юношей и девушек. Вспоминал я уже, что и тихоня Недуева попала в поэтический переплёт – ей посвящённые стихи ходили по рукам в разных списках. Был, помнится и такой вариант моих «Стансов Зины Недуевой».

*Майский ветер
Тихонечко веет
Ароматом сиреней прелестным,
Чувство женское исподволь зреет,
И смущает меня неизвестным.*

«Тогда не то, что ныне», девицы, особенно в провинции, скромные были. Многие из них стали педагогами и сердобольными докторами. Но, бывает, в тихом омуте черти водятся. Наша школа ходуном ходила, обсуждая нескромное поведение Валентины Антоновой, кончившей десятилетку с золотой медалью. Представьте, какой простор открывался перед ней. Она не то, чтобы высидела эту медаль, как добросовестная курушка, а талантливостью своей взяла поднебесную высоту. Однако на беду свою влюбилась. Влюбилась в Кольку Сесипатрова, тракториста, чубатого, вечно чумазого парня. Оторвать их друг от друга не было никакой возможности. Для полной ясности следует не утаить того, что не стихи они друг дружке читали, прогуливаясь по липовым аллеям старинного парка, а бегали по кустам, предаваясь со всей страстью натур горячих, необузданных, плотской любви. То была роковая любовь, и не больно-то хочется разбираться в сей патологии.

Говорите, страсть не патология, болезнь, то есть? Чем спорить, сомневаться, загляните лучше в академический «Словарь русского языка». «Страсть, – толкует словарь, – сильное чувство, с трудом управляемое рассудком». Следует заметить, что в случае с овладевшей Валентиной и Николаем страстью, рассудки вовсе не управляли их поведением. Но то был случай исключительный. А вообще-то, царило романтическое, с поэтическим уклоном, мировосприятие. Немудрено было различить в нашем десятом классе добрых два десятка романтиков, способных открыть, описать в стихах или прозе прекрасное в окружающей обыденности.

Прежде других вспоминаю Генку Лучкина. Вот именно в нём-то, мне кажется, и проглядел Николай Иванович Бизянихин поэта. Недоумевайте, почему поэта? Вроде бы Геннадий стихов не писал? В иных формах проявлялась поэтичность его натуры. Так и подмывает скаламбурить: величайший поэт античности Гомер тоже стихов не писал. Как так, возмутитесь вы. А именно так обстояло дело. Гомер сказывал величавые стихи «Илиады» и «Одиссеи», а гекзаметры слепого поэта записывали спустя века, с голоса исполнителей античных поэм, рапсодов.

Мы с Геной Лучкиным с одной улицы, с Почтовой. Параллельно улице Почтовой речушкой Жабкой прорыт овраг, прорыт бог знает когда. Кто станет спорить, что те, кто первыми стали селиться вдоль этой речушки, впечатлены были несметным количеством жаб, что раньше людей обжили берега ручья. Оттого и называли малую речушку, тож ручей, Жабкой. В пору моего босоногого детства жабы, разновидность лягушек (в скобках позволю себе такое картинное сравнение: жабы среди лягушек, что слоны среди коров), часто встречались по берегам Жабки.

У мальчишек к этим бесхвостым с бородавчатой слизистой кожей проявлялся инстинкт – безотчётное отвращение, готовность, чем придётся, пришибить жабу. Но далеко не каждый замахивался на неё, а уж тем более дотрагивался руками. Считалось: возьмёшь в руки жабу

– она наградит тебя своими бородавками. Ещё бытовало поверье, коли убьёшь жабу, разразится сильный холодный дождь, настоящий проливень. Поэтому, заведя на влажной, сочащейся влагой земле, будто прилипшую к ней плоским широким брюхом жабу, сторонись, буквально отпрыгиваешь от земноводной твари (божьего творения тож) и наблюдаешь в этот момент летящих в воду лягушат, перепуганных твоим резким движением.

В Жабке из рыб, как помнится, обитали только сентиухи – рыбки в пять-шесть сантиметров длиной, лакомство охотчих до неё кошек. Ни в одном из словарей я не нашёл слова «сентиуха», как в известном анекдоте про мальчика Колю, который на просьбу учительницы назвать слово начинающееся на букву «ж», произнёс слово хорошо знакомое буквально всем. Учительница, возмущившись, заявила громко классу: «Такого слова нет!» На что Коля так же, как учительница Мария Ивановна, во всю мощь своего писклявого голосочка изумился: «Как же так, слова нет, а жопа есть!?» То же с сентиухой. Рыбка такая водится в ручье Жабка, а слова сентиуха нет ни в одном словаре. Поймаешь бывало несколько сентиух и бежишь домой, порадовать добычей кота Мурзика.

После половодья в водах Жабки случалось застревали шедшие на нерест щучки. Ребятня ловила их в бочагах руками.

Проходя по разным надобностям вдоль Жабки, мы с Генкой нечаянно встречались в среднем её течении и славно, по-мальчишески, дружили – делились находками и открытиями, хвалились добычей. В зимнюю пору часто оказывались вместе на лыжных овражных горах.

Жабка зимой промерзала до дна, что и не удивительно: ручей был жидковат, глубина его такова, что вода, когда ты вступал в него, едва доходила до мальчишеских лодыжек. Пожалуй, более ловко сказать, по щиколотку. Чтобы удобно брать тёплую, живую воду для полива огородных грядок, да и для пожарных случаев, Жабку чуть выше по течению запрудили-перегородили большими камнями, засыпали землёй, утрамбовали, поверху устроили спуск из камней, чтобы Жабке способно было бежать дальше, куда ей назначено – в реку, в Лопасню. Образовавшийся водоём (таких с десятков можно насчитать) – приволье для гусей и уток и купальня для мальчишек. Не уходит из памяти и сладкое воспоминание о том, как по водным просторам запруды мы четырёх – пятилетние сорванцы, вооружившись, кто доской, кто суковатым дрыном, совершали рейсы по глубоководью запруженной Жабки; происходили при этом и «морские» сражения с рукопашными абордажными схватками, в ходе которых победители сбрасывали матросов противника с дощаника или плавучего коряжистого бревна в воду, поднимали свой тряпичный флаг над захваченным в бою судном, вопили писклявыми голосами «Ура»; такое происходило в июльскую жару. А зимой Жабка, её заснеженные овражные спуски манили нас, пацанов, неодолимой тягой купаться в пушистом или рассыпчатом снегу, естественно, не расставаясь по целым дням с коротышками лыжаками-вездеходами.

Итак, Жабка промерзала сплошь и рядом до дна, а вода с верховьев, из лесной чащобы Мёрлинок текла и текла. На дне оврага она сочилась поверх зеленовато-жёлтого льда, выполняющего из-под свежего снега скользкими буграми-наплывами. После выюги или обильного снегопада, как правило, чреватых оттепелью, на этой корявой поверхности образовывался наллой – напивавшийся водою снег. По налою не пройдёшь в валенках, они живо наполнятся ледяною влагою. Без резиновых высоких калош по налою далеко не уйдёшь! Лыжи, врезавшись в налой, тут же выходят из строя – обледееневают, как крылья самолёта, попавшего в снежную мокротель.

Ну, так что, когда не было на дне оврага налая, происходило на заснеженных Жабкиных горках? Спускалась ребятня на маленьких ловких лыжах, хочется сказать лыжатах, по сто раз в день. Чем горка круче, тем больше интерес.

В освоении наших Жабкиных Альп отлично прослеживается диалектика роста детского разума. Поначалу хорошо помню ощущение досадного тупика, в конце спуска, если даже он и не был дюже крутым, обязательно мальчишки тыкались лицом в снег, отчего детские

рожицы буквально пламенели. Когда налой ещё только подспудно формировался и был невидим, втыкался карапуз-лыжник всей физиономией в склизкую холодную снежную жижу и с рёвом бежал домой... У лыжат-коротышек носы только чуть-чуть загнуты – досочка плоская с жёлобком снизу и всё. Кого первого надоумило, меня или Генку, сейчас никак не вспомню. Может, рассуждали вдвоём и придумали такое вот усовершенствование лыжат-коротышек. В самом узком месте, на верхушке носка лыжицы раскалённым до красноты шилом прожигалась дырочка. Разумеется, на обеих лыжах. Сквозь полученное отверстие пропускаться сыромятный ремешок (или прочный шнур), протиснутый сквозь прожжённую в лыже дырочку ремённой хвостик завязывался с помощью шила двойным узлом. Когда эта операция успешно проделывалась на паре лыж, получалось что-то вроде ремённых вожжей. Роль управляемой тобою при спуске с горы лошади исполняют лыжи. Приближаясь к точке перелома крутизны, ты изо всех сил натягиваешь ремень, который крепко держишь в руках. То есть делаешь то, что возчик, стремящийся остановить бег коня в упряжке. Он громко, протяжно произносит: «Пр-р-у-у!» И при этом изо всех сил натягивает вожжи, останавливая бег коня. Ты, спускающийся с горы лыжник, весом отклонённого назад тела задираешь вверх носки пары лыж и благополучно минуешь точку перелома крутизны, так сказать, нижнюю мёртвую точку.

Изобретённые нами упругие ремённые вожжи давали устойчивость, помогали удержаться на ногах при скольжении после спуска по ледяным буграм замёрзшего ложа Жабки. В общем, здорово было придумано – полное соответствие с правильным нахождением центра тяжести при спуске с горы. Одним словом, у нас с Генкой был полный порядок в том, что касалось применения законов физики в жизни.

Мой приятель с Почтовой Генка Лучкин вызывал у меня восхищение. С лыжами мы не расставались и став взрослее, возмужав; запомнился мне Геннадий пижонистым старшеклассником – слаломистом на трёхсотметровом марасановском спуске, это опять же на наших родных Жабкиных горушках. Всегда козырем Генки Лучкина была завидная осанка, гордое, изысканное, аристократическое положение всех частей фигуры, отдалённо напоминающее вскинутость головы и тела насторожённой лани. Сила, чувство собственного достоинства, естественная, природная постоянная собранность ощущались в нём – невысоком стройном юноше, с лёгкой азиатчиной в чертах лица. Он так и стоит передо мной. Статный, атлетически сложенный, грудь колесом. Аккуратист (стрелки отутюженных брюк, словно опасная бритва, начищенные до зеркального блеска ботинки, уложенные набок волосы). Особенно хорош он был в летней рубашке с короткими рукавами и отложным воротничком. Мы с ним, надо это подчеркнуть, никогда не конкурировали, просто дружили.

Было в кого стать ему атлетом. Отец Геннадия Александр Иванович Лучкин – на Лопасне личность заметная, я бы осмелился заявить яркая, громкая. Богатырь. Русский богатырь. Всю трудовую жизнь Александр Иванович – шофёр, водитель грузовых автомобилей. Тут без наличия физической основательности делать нечего. Совершенно безаварийный шофёр. Участник (опять же за рулём от звонка до звонка) военной финской компании 1939–1940 годов. Вернулся домой с медалью «За отвагу» на богатырской груди. Лучкин-старший выделял бог знает что с гирей двухпудовой. Дюжину граждан выдерживал на себе, положив широкую доску на грудь. Добродушен, общителен, надёжен, улыбчив.

Теперь пришёл черёд рассказать, почему считаю Гену Лучкина не открытым нашим чутким словесником Николаем Ивановичем Безяни-хиным истинным лириком. Предполагаю, что дальнейшее повествование о нас с Генкой вызовет наветы. Дескать, ещё один эпигон Тургенева нашёлся. Сто тысяч первый «Бежин луг» описывает. Что делать – не могу не рассказать о том, что на душу легло как заветное, дорогое.

Настал такой момент в нашей жизни мальчишеской, когда романтика, поэтические грёзы перехлёстывают через край. Решили мы устроить вдвоём рыбалку с ночёвой у реки под откры-

тым небом. Гвоздь программы – рыбалка с постановкой вершей. Место действия – речной пережат, что у Кручи. Это высоченный глинистый берег на Старом Бадееве.

Для осуществления задуманного требовались эти самые верши – древнейшее орудие лова. Надо признаться, с вершей, обнаруженных Генкой на чердаке вросшего в землю амбара, стоящего в глубине усадьбы Лучкиных, и завязалась романтическая мечта, которую мы оба, отроки решительные, тотчас принялись приводить в исполнение.

Верша – это сплетённая из ивовых прутьев круглая продолговатая корзина с воронкообразным входом, с завязываемой верёвкой хвостовой частью (развязав верёвку, рыбаки высыпают на землю улов). Обе обнаруженные на чердаке амбара Лучкиных верши от долгого хранения в сухом месте стали ломкими, хрупкими, при неаккуратном обращении готовыми рассыпаться в прах. С предельной осторожностью мы очистили верши от мусора, набившегося в них за годы чердачного забвения.

Применяя всевозможные уловки, чтобы не раскрыть тайного замысла ночной рыбалки, раздобыли необходимое – соль, спички, хлеб, дюжину увесистых картофелин. В сумерках приступили к исполнению задуманного. На пережете решили выложить запруду из речного камня: в ней, по нашему плану, следовало оставить два прорана под верши. Трудились в поте лица – выкладывать преграду из придонных осклизлых камней размерами побольше, ибо стремительный поток воды на пережете булыжники величиной с кулак с лёгкостью катит вдоль пологого наклонного участка русла, оказалось не простым делом. Азарт в то время, как мы, стоя по колено в воде, всё это проделывали, владел нами такой, какого до этого рыбацкого вечера и не знали. Устроив в двух проранах рыбные ловушки, по крутому глинистому откосу взобрались наверх – на травянистую луговину, у края которой устроен был бивак для ночлега. Лежали здесь шерстяные свитеры и ватные телогрейки, загодя приготовленные дровишки, береста для розжига костра, съестные припасы. Крышей, огромной, иссиня-чёрной, украшенной мириадами звёзд, решили считать небо над нами. Занялись костром, полагая, что станем выяснять, велик ли навал окуней, плотвы, голавлей, линей, краснощёк, ближе к утру, как только на востоке зардеет заря. Когда запылал костёр, переоделись в сухое. Стали поглядывать вниз, туда, где с утробным ворчанием и плеском переливалась через нашу запруду вода. Почему-то мы уверили себя в том, что вода дырочку найдёт, а вот рыба в эту дырочку не протиснется. Воображение разыгралось ещё как! Полагали два завязанных рыбака с Почтовой, что вся, какая есть в реке рыба, непременно двинется к проранам, а там – наши верши.

Горел скромный костерок – не хотели мы, мальчишки, которым только-только исполнилось десять лет, привлекать особое внимание к себе, в том числе пожарных. Каланча, дозорная вышка лопасненской пожарной части, возвышалась над одноэтажным массивом строений Почтовой и Московской улиц. Дежурившему на каланче дозорному пылающий в ночи большой костёр непременно показался бы подозрительным явлением. В общем, мы были мальчишками сообразительными и отправились на ночную рыбалку не озорства ради, а чтобы испытать чувство, о котором поведал Тургенев в «Бежином луге». Этот рассказ на уроке читала нам учительница Мария Архиповна.

Как только костёр прогорел, стали бросать в огнедышащую массу углей и золы картофелины, присыпая их искрящимися остатками, закраинами кострища. Чтобы не упустить огня набросали на дышащие жаром угли сучья, прошлогоднюю полынь, всё, что удалось собрать в ближайшей округе. Костёр заново взялся, ослепляя нас; от его полыхания не видно было ничего уже в нескольких метрах от бивака.

Сучья, сгорев, прикрыли новой порцией золы и краснеющих в ночи углей картошку. Улёгшись на ватники у догорающего костра, стали вслух мечтать о большом улове. Реку накрыл молочного цвета густой туман, и оттого всякие звуки с воды, приглушённые им, возбуждали в наших сердцах мальчишеские грёзы.

А тут в наступившей ночной тишине подал голос одинокий соловей. Дни клонились к середине июня, и ему пора бы уже обзавестись подругой, а он, бедолага, всё поёт любовные песни. Свистнет соловей как-то робко, заискивающе, помолчит.

И вдруг, осмелев, пошёл дробить устоявшийся, густой, с туманцем, воздух трелями, красивыми, затейливыми пассажами. На жалобной, ласково-печальной ноте голос соловья смолк. До будущей весны, наверное.

Короткий антракт. Слышно только приглушённое туманом журчание-говор воды на устроенной нами плотине. Чу! На том берегу будто тележный скрип с подергиванием.

– Коростель продирается сквозь густой травостой; можно подумать, кого потерял в темноте, ищет – не найдёт никак.

– А это? Слышишь, звуки, душераздирающе-отрывистые. Кто это там пищит?

– Сова... Добычу свою, мышшей, так пугает, летит, пищит, мышка замерла на месте от страха. А сова в темноте всё и всех видит, да ещё как видит. А летает она совершенно неслышно. У неё мягкое, рыхлое оперение – никакого свиста крыл. Перемещается в ночи бесшумно. Голова у неё большая, круглая, глазницы в перьях. Суций дьявол.

– Сколько ты знаешь, Генка! Откуда?

– Мне сосед-охотник дядя Вася Марасанов про сову рассказывал.

Звёзды, усеявшие от края до края небосвод, завораживали, вынуждали думать, говорить о беспредельности Вселенной.

Генка, восстав над костром в позе недоумевающего, вопрошающего, жаждущего истины, бросает слова с такой значительной интонацией, словно предвидит эффект вспышки, почти мгновенного возгорания, падающих на пламенеющие угли сухих берёзовых лучин.

– Как так можно? По радио Лемешев поёт:

«Всю-то я вселенную проехал...»

На лошадях, в телеге проехал, что ли? – смеётся Генка.

– А почему не в телеге? Если он раньше ямщиком был, помнишь, он пел: «Когда я на почте служил ямщиком», – обязательно и по Вселенной на лошадях будет скакать!

– В аэросанях способней... Пропеллер тянет вперёд и обдувает заодно. В кино показывали, как по глубокому снегу на Севере ездят на аэросанях.

– Думаю, во Вселенной на дорогах полно звёздной пыли. Так же, как после метели. Звёздные заструги, понимаешь?

– Ты что? Там дорог и в помине нет! Простор – катись в любую сторону.

– Вот бы прокатиться! Летишь с ветерком по звёздным застругам, а тебя потрясывает. Хорошо!

– Надо же, в фантастику ударились. К звёздам даже самолёт Чкалова не пробьётся. Только на ракете можно домчаться. Да и то за сто лет – так далеко.

Настроение поднялось. Мною овладел восторг, его надо было как-то выразить. Я принялся декламировать, точнее выкрикнул всем известную строчку Пушкина:

– Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы.

– Как дальше?

– Где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель...

Знаешь, мне Онегин не по душе... Мне ближе Татьяна.

Генка с мечтательным выражением, глядя в глубь Вселенной, заговорил стихами.

Итак, она звалась Татьяной...

Впервые именем таким

Страницы нежные романа

Мы своевольно освятим.

Как мы она любила на балконе

*Предупреждать луны восход,
Когда на бледном небосклоне
Звёзд исчезает хоровод...*

Смотри! Звёзд на небе не стало – прямо по Пушкину.

*И тихо край земли светлеет,
И, утра вестник, ветер веет,
И всходит постепенно день.*

– Ну, ты даёшь, Генка!

– У нас в доме на этажерке старинное, здорово потрёпанное, издание «Евгения Онегина» – хочу выучить наизусть как можно больше. Отец вычитал где-то, что «Евгения Онегина» знают наизусть от строчки первой до последней десять тысяч человек.

– Дашь почитать «Онегина»? На дом дашь?

– Дам... С возвратом, – великодушно пообещал Генка.

Оба смолкли – на целую минуту задумались.

– На ракете к звёздам ... Когда это ещё будет?

– Скоро. Очень скоро. Циолковский придумал звёздный корабль: построят и полетят.

– Мне мама после церкви объясняла: «Небо – терем Божий, а звёзды окна, оттуда ангелы смотрят».

– Сказки это.

– Поживём, увидим, что сказки, а что быль.

– А Лемешев, слышь, Юрка, уже всю Вселенную проехал.

– Картошку пора из золы доставать!

Обжигая пальцы, снимаем почерневшую, обуглившуюся кожуру с рассыпающихся сахаром, до страсти вкусных картофелин.

– Гена, где у нас соль, и ломоть хлеба будет не лишним.

– Тот не знает наслажденья, денья-денья, кто картошки не едал, – то ли поёт, то ли проговаривает враспев торжествующий Генка.

Что остаётся делать мне? Поддерживаю его, поддакиваю с полным ртом вкуснейшей печённой в костре картошки:

– Наслажденье, денье, денье, пионеров идеал. Особенно, если не забыть посыпать на разломленную пополам картофелину маленькую щепотку соли.

– Хо-а-ша ка-о-ше-а!

Не прожевав, с полным ртом и оттого сглатывая согласные, косноязычит Генка и поднимает ввысь большой палец правой руки.

Июньская ночь чуть длиннее воробыиного носа. На востоке, там, где наша Почтовая, а за ней – Московская улица и Садки, уже занимается заря. Оба любимы чудом зарождения света. Из-за горизонта проглядывает розовая пелена.

– Робкая... Будто угли под пеплом, – произнёс пресекающимся голосом Генка, и эти его слова я запомнил навсегда. Не напрасно огорчился я впоследствии на то, что Николай Иванович Бизянихин не причислил Генку Лучкина к стану поэтов десятого класса Лопасненской средней школы.

– Пойдём посмотреть верши, – вспомнил я о ждущем нас внизу, в реке, улове.

– Рано! Да и прозябнем слишком. Смотри, какой плотный туман стоит над водой.

– Тогда соснём часок-другой.

– Давай.

Как сражённые неслышимой пулемётной очередью, повалились мы на нагретые костром ватники. Уснули враз. Солнце, выкатившись из-за горизонта на треть своего гигантского круга, вдарило по глазам.

– Кажется, мы проспали улов, – потухшим голосом произнёс мой друг.

Подняли из проранов снасти: в одной верше трепыхались два малорослых окунька, в другой – серебрилась несколько плотвиц и карабкались по ивовым прутьям пучеглазые раки. Плотина наша в нескольких местах развалилась, вода шла сплошным потоком по всей длине каменной преграды.

– Улов не столь и важен. Зато какая ночь позади, – примирительно рассуждал Генка. С этим трудно было спорить. Знатная ночь случилась для двоих романтически настроенных мальчишек в канун страшной – истребительной, но победоносной – войны. Катился ко второй, роковой, половине июня сорок первого года.

На другой день последовала компенсация-вознаграждение за скудный улов на каменной, осыпавшейся под напором быстрых упругих речных струй запруде у Старого Бадеева. Возмещение, можно предполагать, случилось по указанию высших, способных на такое сил. Напротив кузни Конновых, под сенью громадных осокорей, мы пытались в густой тине, разросшейся у берега, загонять в ивовые бельевые корзины рыбёшку, а она, глупая, всё никак не шла в эту приспособленную для рыбной ловли снасть. И вдруг не помню, кто первый из нас, истошно заорал:

– Линь, боль-шу-ший!

Не успел второй рыбак подосадовать, что не к нему пришла удача, как в корзине, которую он выкинул на длину рук перед собой и начал бузовать в гущу тины ногами, затрепыхался большущий линь – скользкий, покрытый серо-зелёной слизью, увесистый. На берегу, прыгая от радости, сравнивали, измеряли прутиком пойманных линей. Они были – ну как две капли воды. Запомнилось это удивительное везение, не позволившее двум мальчикам-друзьям ни огорчиться, ни завидовать друг другу.

В живородном садике на доращивании

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.